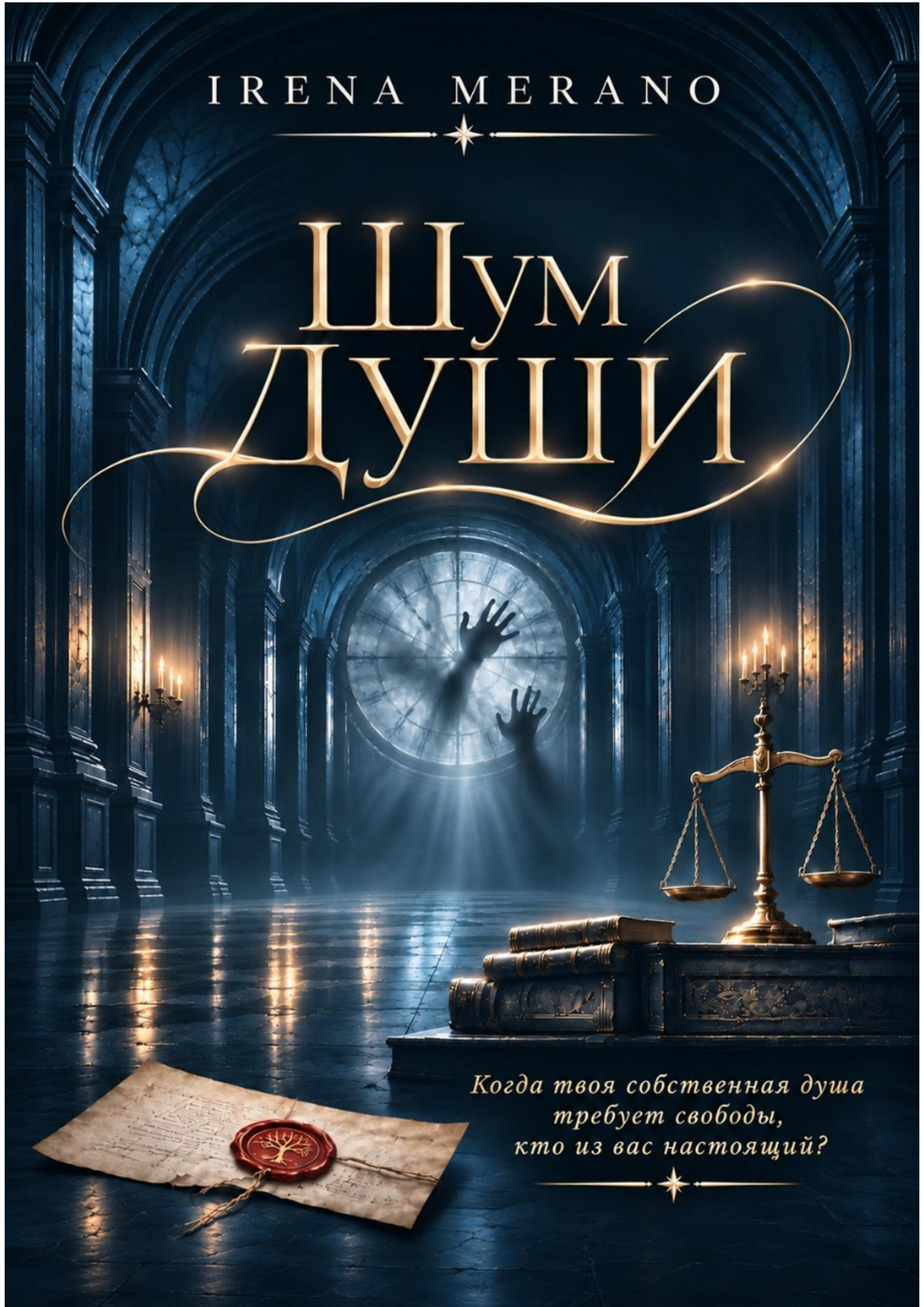

IRENA MERANO
Шум души
Когда твоя собственная душа
требует свободы,
кто из вас настоящий?

Irena  Irena Merano

# Шум души

«Автор»
2026

**Irena Merano I.**

Шум души / I. Irena Merano — «Автор», 2026

Моя душа подала на меня в суд. Курьер принёс два конверта. Я расписалась один раз. Этого хватило, чтобы уведомить нас обеих.Меня зовут Нелла Вирс. Если я проиграю, это имя останется у моей души. Мне выдадут серую пластину без имени. За девять лет работы судебным экспертом я видела такие пластины десятки раз. Теперь одна лежит передо мной на столе. Её принёс человек, которого я считала спасённым.Я помню его пальцы на моей перчатке. Помню, как он прошептал «спаси меня» и как я подписала разрешение на разделение. Мне казалось, самое страшное — не успеть.Теперь я требую, чтобы суд дал мне прослушать запись операции целиком. Включая то, что мы тогда приняли за шум.А пока он стоит передо мной и впервые за девять лет говорит сам за себя.— Девять лет назад вы подписали моё убийство. Только забыли проверить, умер ли я..

© Irena Merano I., 2026
© Автор, 2026

# Шум души

**ШУМ ДУШИ**

Irena Merano

ГЛАВА 1

**Иск против себя**

В восемь семнадцать утра мне вручили повестку. Моя собственная душа требовала у суда права жить без меня.

Я стояла босиком на холодной плитке прихожей с недопитым кофе в руке. Курьер в сером форменном пальто держал два конверта и смотрел на меня с той осторожной вежливостью, какую обычно приберегают для родственников умершего.

— Нелла Вирс?

— Смотря кто спрашивает.

Он не улыбнулся.

— Служба вручения Палаты разделений. Подтвердите, пожалуйста, получение.

На первом конверте моё имя было выведено чёрными чернилами. На втором — серебряными. Никакой другой разницы я не заметила, пока не прочла подписи под адресами.

«Нелле Вирс, носителю».

«Нелле Вирс, сущности».

Кофе показался мне совершенно безвкусным.

— Кто подал заявление? — спросила я, хотя уже знала ответ.

Курьер опустил взгляд на ведомость.

— Сущность, проживающая совместно с вами с момента рождения.

— Нельзя проживать совместно с самим собой.

— Это не я устанавливаю, госпожа Вирс.

За девять лет работы в судебной экспертизе мне доводилось сообщать людям вещи гораздо неприятнее. И всё же я впервые поняла, почему некоторые из них начинали смеяться.

— Заявление зарегистрировано ночью? — уточнила я.

Курьер наконец поднял на меня взгляд. Казалось, именно этот вопрос он и боялся услышать.

— В три сорок одну.

В три сорок одну я спала. В этом я была уверена: накануне допоздна готовила заключение, легла после двух и не просыпалась до будильника.

— И каким образом истец добрался до Палаты?

— Мне неизвестно.

— Вы ведь понимаете, что её ноги принадлежат мне?

— Госпожа Вирс, я только вручаю документы.

Он протянул регистрационную пластину. На ней светились две узкие полосы: одна тёмная, вторая серебряная. При обычном вручении полоса была одна. Вторая появлялась лишь тогда, когда заявитель и ответчик делили одно тело.

Я коснулась пластины большим пальцем. Тёмная линия погасла.

Серебряная дрогнула — и исчезла следом.

— Оба адресата уведомлены, — произнёс курьер.

— Я к этому не прикасалась второй раз.

— Второй подписи не требовалось.

Он поспешно убрал пластину. Я захлопнула дверь чуть резче, чем собиралась, и вернулась на кухню.

Там было всё как обычно: ровный ряд чашек на полке, незаконченная статья на рабочем экране, жёлтая полоска утреннего света на столе. Обычность происходящего раздражала сильнее повестки.

Я вскрыла конверт с чёрной надписью.

«Ходатайство о прекращении совместного существования. Истец: душа Неллы Вирс. Ответчик: тело Неллы Вирс».

Далее следовали семнадцать страниц юридических формулировок, которые я сама сотни раз цитировала в заключениях. Требование признать союз необратимо нарушенным. Передать истцу право на имя, биографию, профессиональные заслуги и имущество. Назначить принудительное разделение в ближайший допустимый срок.

Я прочла последнюю строку дважды.

«Основание для срочного рассмотрения: подтверждённая угроза существованию истца со стороны ответчика».

Угроза существованию.

Я поставила чашку на стол.

— Это шутка? — спросила я в пустую кухню.

Ответа не было.

Я знала, насколько сложна процедура. Подать иск от имени собственной души нельзя под давлением, во сне или в состоянии резонансного расстройства. Специалисты Палаты должны зафиксировать отдельное, устойчивое волеизъявление, не вызванное импульсом тела. Невозможно оформить такое заявление вместо истца. Невозможно подделать его без доступа к регистратору, хранившемуся в закрытом крыле суда.

Именно поэтому люди платили огромные деньги адвокатам, надеясь доказать, что иск их души недействителен.

Именно поэтому я никогда не сомневалась, что со мной этого не произойдёт.

Второй конверт я открывать не стала. Он не предназначался мне, во всяком случае так утверждала бумага.

Сначала послышались шаги.

Один — у кухонного порога.

Другой — возле окна.

Я обернулась. Никого.

Здание было старым, полы иногда отзывались на движение соседей, но эти звуки шли слишком близко и слишком точно. Я сделала шаг к окну — и услышала, как кто-то будто уже наступил на паркет у рамы.

Остановилась.

Тишина.

Решила вернуться к столу.

Стул скрипнул прежде, чем я успела к нему прикоснуться.

Я медленно подняла руки, будто сдавалась невидимому противнику.

— Очень убедительно, — сказала я. — Теперь прекрати.

Что-то ударило о дерево три раза. Последовала пауза. Затем — ещё один удар.

Я смотрела на столешницу, пока не поняла: звук доносится из закрытого серебряного конверта.

Он лежал неподвижно.

Когда я поднесла к нему ладонь, на плотной бумаге проступила ещё одна строка, которой минуту назад не было.

«Истец просит рассмотреть дело без участия третьей стороны».

Я перечитала её. Потом ещё раз.

В этой фразе не было юридического смысла. Если стороны две — носитель и сущность, — третьей стороне попросту неоткуда взяться.

Но именно тогда за моей спиной кто-то отодвинул стул.

Я не повернулась.

Я слишком хорошо знала, как звучит мой собственный стул. Он стоял слева, у стола; я видела его перед собой. А скрип раздался справа, из угла, где никакой мебели не было.

— Хорошо, — произнесла я так спокойно, как только смогла. — Сегодня я не буду задавать лишних вопросов.

Серебряный конверт нагрелся под моей ладонью.

И впервые за тридцать один год мне показалось, что страх, сжавший горло, принадлежит не мне.

⁂

Судебные эксперты не имеют права паниковать до десяти утра. Такое правило я придумала для себя в первую неделю работы и с тех пор старательно соблюдала.

В девять ноль пять я уже сидела за письменным столом, одетая и причёсанная, с распечатанным иском перед собой. Рядом лежало заключение, которое мне предстояло подписать сегодня.

«Проект единого протокола акустического снижения конфликтности».

Семьдесят шесть страниц. Семь месяцев испытаний. Сотни судебных записей. По новому протоколу высокий шум больше не требовал длительного наблюдения: его можно было подавить в течение нескольких минут и стабилизировать состояние сторон до рассмотрения дела.

Если испытания признают успешными, метод допустят к широкому применению.

Я сама добивалась этого.

Слишком часто мне приходилось видеть, как люди разрывались между противоречивыми желаниями, теряли сон, переставали есть и приходили в Палату уже на грани физического истощения. Снижение шума казалось милосердием — временным, контролируемым, необходимым.

Но график моего собственного резонанса в то утро выглядел иначе.

На экране рабочего прибора полосы, соответствующие телу и душе, шли не параллельно. Между ними появлялись короткие вертикальные всплески. Прибор не мог определить их источник.

Я проверила электроды, сменила кабель, перезапустила анализ.

Необъяснимый всплеск повторился.

Потом ещё один.

Три. Пауза. Один.

Я выключила прибор.

На столе завибрировал коммуникатор. Вызов из лаборатории.

— Нелла? — раздался голос моей помощницы, Илвы Рек. — Ты уже видела письмо Палаты?

— Какое из двух?

Пауза получилась достаточно длинной, чтобы мне стало стыдно за собственный тон.

— Тебя отстранили от сегодняшнего утверждения протокола, — сказала Илва. — До решения вопроса о правосубъектности.

Слово прозвучало так, будто кто-то сухо и очень аккуратно переломил кость.

— Кто отстранил?

— Решение закрытой коллегии. Подпись Рейна.

Судья Эльвар Рейн не разговаривал уже больше двадцати лет. Вся Палата знала об этом, как знала и то, что его решения отменялись редко. Почему он утратил голос, никто не обсуждал вслух.

— Когда вынесли решение?

— Сегодня в три сорок две.

Через минуту после подачи иска.

— Слишком быстро для коллегии.

— Нелла, — тихо сказала Илва, — я не стала спрашивать, что произошло. Но в документах есть ещё кое-что. Указано, что ты не можешь пользоваться служебными записями по одному делу.

Я закрыла глаза.

— По какому?

— Номер девять — ноль — семнадцать. Экстренное разделение. Девять лет назад.

Я не сразу ответила.

Девять лет назад мне было двадцать два. В тот день я стояла под операционным светом в старой клинике Палаты и держала дрожащую руку человека, который едва мог дышать.

«Спаси меня», — прошептал он.

Я подписала разрешение.

— Нелла? — позвала Илва.

— Я слышу.

— Тебе прислать копию приказа?

— Не сейчас. Я и без копии поняла, что доступ к делу закрыт. Не хочу изучать перечень собственных запретов ещё до завтрака.

— Ты шутишь.

— Это проверенный способ не начать кричать.

Илва вздохнула.

— Позвони адвокату. Не приходи в лабораторию. Здесь уже опечатали твой кабинет.

Когда вызов оборвался, я долго смотрела на тёмный экран.

Опечатали кабинет — значит, дело не обычное. Не семейный спор между душой и телом, какими бы нелепыми ни казались эти слова. Кто-то получил доступ к внутреннему архиву, нашёл старое заключение и убедил закрытую коллегию действовать немедленно.

Либо этот кто-то находился там всегда.

Я снова посмотрела на серебряный конверт.

— Ты могла просто поговорить со мной, — сказала я.

На этот раз не было ни стука, ни шагов.

Только лёгкое, почти болезненное напряжение под рёбрами. Словно кто-то задержал дыхание внутри меня, пока я продолжала дышать.

⁂

К полудню я выяснила три вещи.

Первое: единственный адвокат, которому я доверяла достаточно, чтобы показать ему иск, находился за пределами города и по закону не мог участвовать в срочном заседании дистанционно.

Второе: мои банковские счета уже ограничили. Я могла оплатить дорогу и еду, но не имела права переводить крупные суммы — до определения, кому они принадлежат.

Третье: предварительное слушание назначили на четырнадцать ноль-ноль.

Не завтра. Не через неделю.

Через два часа.

Я ехала в Палату на общественном трамвае, прижимая к коленям папку с документами. Мне не хотелось видеть себя в отражении стекла, но в вагоне больше некуда было смотреть.

Люди вокруг обсуждали цены, дождь и какие-то выборы в городском совете. Женщина напротив ловила маленького ребёнка, который норовил забраться на сиденье в мокрых ботинках. У юноши у дверей из наушников пробивалась глухая музыка.

Ничего не изменилось.

Всё продолжало существовать, будто моя жизнь не была разделена на истца и ответчика.

На следующей остановке вошёл мужчина без знака личности на воротнике.

Такие знаки стали обязательными после третьей реформы: тонкий круг с выгравированным именем означал, что тело и душа признаны единым гражданином. После разделения знак оставался у души. Телу выдавали серую пластину без имени.

У мужчины не было ни того ни другого.

Он стоял у дверей и держался за поручень голой рукой. Обычный человек лет сорока, с усталым лицом и коротко остриженными волосами. И всё же пассажиры машинально отодвигались, освобождая вокруг него место.

Я поймала себя на том, что делаю то же самое.

Мужчина заметил мой жест и улыбнулся без веселья.

— Бояться нечего, — сказал он. — Я не заразный.

— Я знаю.

— Конечно. Вы же носите экспертный знак.

Я машинально коснулась лацкана пальто. После утреннего приказа знак следовало снять. Я даже не вспомнила об этом.

Он указал на него глазами.

— У вас скоро заберут?

Я не ответила.

— Вы тогда посмотрите, как быстро люди начинают замечать, что у них есть ноги. Отходят, не глядя.

Двери открылись. Мужчина вышел, не попрощавшись.

Я снова посмотрела на отражение.

Раньше мне казалось, что после разделения человек просто перестаёт быть целым. Я повторяла это студентам, судьям, родственникам истцов. Но что означало «перестаёт», если мужчина в трамвае думал, разговаривал, обижался и пытался шутить?

Я могла бы ответить на этот вопрос по протоколу. По закону. По результатам тысяч экспертиз.

Впервые мне не хотелось.

За пять минут до заседания я вошла в Палату разделений.

Под её высоким стеклянным сводом было прохладно. В длинном коридоре несколько человек сидели на скамьях, избегая смотреть друг на друга. У каждого в руках имелась папка или конверт. Одна женщина держала сразу два кольца на тонкой цепочке — знак того, что её дело завершилось примирением.

У входа в закрытое крыло висели часы без стрелок.

Я прошла мимо них и не сразу поняла, почему остановилась.

Из-за матового стекла, отделявшего крыло от коридора, донёсся знакомый звук.

Три удара.

Пауза.

Один.

Я приложила пальцы к холодной поверхности.

Там, где не было ни двери, ни ручки, на стекле на мгновение проявилась тень ладони. Не моя: пальцы были длиннее, и один из них казался сломанным.

— Госпожа Вирс?

Я резко обернулась.

Передо мной стояла секретарь в чёрном форменном платье. У неё были светлые волосы, плотно убранные в узел, и маленький серебряный прибор у горла.

— Вас ожидают.

Я снова посмотрела на стекло.

Там уже ничего не было.

— Вы слышали стук?

Секретарь проследила за моим взглядом. Её лицо не изменилось, но рука на мгновение прикрыла прибор у горла.

— В закрытом крыле ведутся работы.

— Там нет ремонта.

— Пожалуйста, пройдёмте.

Она пошла так быстро, будто разговор был опаснее опоздания.

⁂

Предварительные слушания обычно проводили в маленьких помещениях без публики. Моё назначили в зале, рассчитанном как минимум на сотню человек.

Там было пусто.

Судейское место располагалось высоко над полом. Под ним стояли два кресла, обращённых к столу с регистрационным стеклом. Одно — для носителя. Второе — для сущности. В делах, где иск подавала душа, кресло истца оставалось незанятым до самого разделения.

В моём случае оно было сдвинуто чуть вперёд.

Нелепая деталь, но я сразу её заметила. Кресла должны стоять на одной линии: так требовал протокол равенства сторон.

— Прошу занять место ответчика, — сказала секретарь.

— Я прошу зафиксировать нарушение расстановки.

— В чём именно?

— Кресло истца находится ближе к стеклу.

Она посмотрела на него. На секунду мне показалось, что женщина растерялась.

— Оно стояло ровно, когда я входила.

Затем поправилась:

— Замечание будет внесено в протокол.

Я села.

На возвышении появился не судья Рейн, а узколицый распорядитель заседания в синем мундире. На столе перед ним лежала тонкая пластина с подписью председателя закрытой коллегии. Значит, Рейн наблюдал за процессом или заранее утвердил его ход. В обоих случаях это было дурным знаком.

— Дело Вирс против Вирс, — объявил распорядитель. — Рассматривается ходатайство истца об установлении временного раздельного статуса и назначении независимой проверки. Ответчик присутствует?

— Присутствует, — ответила я.

— Истец?

Кресло истца оставалось пустым.

Регистрационное стекло медленно потемнело. По его поверхности прошла серебряная полоса, похожая на след от прикосновения мокрого пальца.

— Присутствует, — объявил прибор ровным механическим голосом.

Я почувствовала резкое тепло под грудиной.

Это была она.

Впервые в жизни я услышала не то, как говорят о моей душе, а то, как её признают отдельной стороной.

— Возражения против регистрации? — спросил распорядитель.

— Есть. Я требую проверки независимого волеизъявления истца. И возможности ознакомиться со способом подачи заявления.

— Способ подачи засекречен до окончания предварительной проверки.

— По какому основанию?

Распорядитель провёл пальцем по пластине.

— По решению судьи Эльвара Рейна.

— В протоколе нет ни одного признака непосредственной угрозы. И всё же вы ограничили мои права до слушания.

— Основания представлены истцом.

— Пусть истец их назовёт.

В зале стало тихо. На регистрационном стекле появилась бледная линия. Она поднималась, опускалась, затем застыла.

Я знала эту систему: сущность не говорила словами, пока оставалась связана с телом. Прибор определял выбор из ограниченных вариантов. Да, нет, отказ, требование отложить вопрос. Любой иной ответ считался вмешательством носителя.

— Истец отказывается оглашать основания при ответчике, — сообщил прибор.

— Поразительная смелость, — сказала я. — Попросить забрать у меня жизнь и отказаться объяснять почему.

Линия на стекле вздрогнула.

На мгновение мне показалось, что она хочет ответить. Не по протоколу. По-настоящему.

Но распорядитель уже продолжал:

— Суд располагает свидетельским заявлением, подтверждающим непосредственный характер угрозы. Свидетель допущен по особому порядку.

— Кто он?

Распорядитель перевернул лист.

— Дайн Кервер.

Я не сразу узнала имя.

Не потому, что забыла. Наоборот: я много лет старалась не произносить его. В памяти оно сохранилось в виде номера на белой двери операционной. Девять — ноль — семнадцать.

Мужчина, для которого я подписала разрешение на разделение без полноценного подтверждения его согласия.

Мужчина, которого я считала спасённым.

— Это невозможно, — сказала я.

— Почему?

Я посмотрела на распорядителя. Он не мог не знать.

— После разделения Дайн Кервер юридически прекратил существование как носитель. Его имя перешло сущности. Если свидетель — душа Дайна, вы обязаны обозначить её статус.

— Свидетель не является душой, — ответил распорядитель.

Из боковой двери вышел человек.

У него было то же лицо, какое я помнила девять лет назад, только старше: глубокая складка у рта, серые нити в волосах, жёсткое спокойствие во взгляде. Он двигался без спешки. На воротнике не было гражданского знака.

Дайн остановился напротив меня.

Я ждала обвинения. Или просьбы. Или хотя бы злости.

Но он смотрел на меня так, словно сравнивал с изображением, которое держал в памяти слишком долго.

— Вы помните мои последние слова, госпожа Вирс? — спросил он.

Мне пересохло во рту.

— Да.

— Повторите.

— «Спаси меня».

Дайн кивнул.

— Именно. Я просил спасти меня.

Он подошёл ближе. Судебный распорядитель не остановил его.

— А вы решили, что мне не понадобится право отказаться.

На секунду я снова оказалась в операционной: липкая от дезинфектора перчатка, мокрые волосы Дайна на подушке, красная лампа над дверью. Тогда я видела, как монитор отсчитывает чужие удары сердца. Но не видела, что человек передо мной старается вдохнуть для ещё одного слова. Мне хватило первых двух — так было проще выдержать страх, что он умрёт прежде, чем я сделаю хоть что-нибудь.

В памяти внезапно всплыла деталь, которой я никогда не записывала в отчёте. Дайн пытался удержать мою перчатку двумя пальцами. Слишком слабыми, чтобы сжать, и достаточно настойчивыми, чтобы я ощутила это даже сквозь резину. Я решила, что он просит не уходить. Осталась у его изголовья — и всё же не дала ему договорить.

В ту ночь в операционной было два вида времени: время прибора, отсчитывавшего, сколько ещё выдержит сердце, и время человека, которому нужен был хотя бы ещё один вдох. Я выбрала первое, потому что оно имело цифры. Потому что в цифрах можно было спрятать собственный ужас.

Теперь Дайн стоял передо мной. Ни один аппарат не определял, сколько ему стоило прийти сюда, назвать меня по имени и не закричать.

— Я девять лет репетировала, что скажу вам, если мы встретимся, — произнесла я.

— А я — что вы ответите, когда я спрошу, зачем вы перестали меня слушать.

— Я боялась, что вы умрёте.

— Я тоже. — Он помолчал. — Это единственное, что мы тогда чувствовали одинаково. Но вы почему-то решили, что этого достаточно, чтобы говорить за двоих.

Мне захотелось попросить прощения сразу: одно слово, после которого можно выпрямить спину. Я открыла рот и поняла, что даже теперь хочу получить облегчение прежде, чем спросить, нужно ли оно ему.

— Я не прошу вас простить меня, — сказала я наконец. — И не могу вернуть вашу жизнь прежней. Я могу только подтвердить вслух, что знала: это не было согласием.

Дайн впервые отвёл взгляд от моего лица. Не в знак примирения. Скорее, чтобы спрятать что-то слишком личное от чужого зала суда.

— Запишите, — сказал он. — Не для меня. Чтобы в следующий раз, когда вам покажется, будто человек слишком долго отвечает, вы вспомнили эти секунды.

Я подняла руку, требуя включить в протокол запрос о выдаче исходной звуковой ленты операции. Не заключения, составленного после разделения, а ленты целиком — с вопросами, промежутками тишины и словами, которые сочли медицинским шумом. Распорядитель не спросил, почему я добиваюсь доказательства против себя.

— Архивный носитель недоступен для предварительного слушания, — ответил он.

— Значит, запишите отказ суда предоставить его. Отдельной строкой. Не в приложении, которое можно изъять.

Я почувствовала, как в зале изменилось отношение ко мне: ответчица только что попросила закрепить возможность собственного обвинения. Если записи не сохранились, эту строку потом предъявят мне вместе с девятилетним разрешением. И всё-таки я не отозвала требование.

Тогда Дайн положил на стол серую пластину. Она была пустой: ни имени, ни даты рождения, ни номера гражданского дела. Только продольная трещина, будто кто-то пытался разломить её и не смог.

— Девять лет назад вы подписали моё убийство, — сказал он спокойно. — Только забыли проверить, умер ли я.

Из регистрационного стекла донёсся короткий металлический щелчок.

Потом ещё два.

Пауза.

Последний удар.

Распорядитель нахмурился и наклонился к прибору.

На нём горели три полосы.

Тёмная — напротив моего кресла.

Серебряная — напротив пустого.

И третья, почти прозрачная, между ними.

— Ошибка регистрации, — произнёс распорядитель.

Он нажал кнопку сброса.

Третья полоса осталась на месте.

Тогда Дайн впервые отвёл от меня взгляд. Посмотрел не на прибор, а в пустое пространство справа от моего плеча.

Его лицо побелело.

— Нелла, — выдохнул он, и все девять лет между нами вдруг исчезли. — Что бы вы сейчас ни услышали, не отвечайте.

Кто-то за моей спиной придвинул к столу третье кресло.

И голос, которого не было ни у одного из присутствующих, произнёс очень тихо:

— Поздно.

ГЛАВА 2

**Протокол отсутствия**

— Поздно.

Голос прозвучал совсем рядом, чуть выше моего правого плеча. Не шёпот и не крик. Обыкновенный голос человека, который сообщил о задержавшемся поезде и не собирался повторять сказанное.

Я резко обернулась.

Между моим креслом и пустым креслом истца стояло третье. Узкое, с прямой спинкой, обитой потёртой тёмной кожей. Его ножки оставили на светлом полу четыре неглубокие борозды. Я знала этот зал: по правилам два кресла ставили строго по разметке, чтобы стороны находились на одинаковом расстоянии от регистрационного стекла. Но ещё до начала слушания кресло истца оказалось сдвинуто вперёд. Третьему здесь и вовсе было не место.

На нём никто не сидел.

И всё же подушка медленно расправлялась, словно сидевший только что поднялся.

Я посмотрела на Дайна. Он стоял у свидетельского стола, прижав пальцы к краю столешницы. Человек, который пришёл обвинить меня, побледнел до серого оттенка своей безымянной пластины.

— Вы это видите? — спросила я.

Дайн не ответил.

— Прошу не обращаться непосредственно к свидетелю, — произнёс распорядитель.

Мне хотелось спросить, не видит ли он тоже лишнего кресла. Но вопрос, на который можно ответить «да», «нет» или «я не понимаю, о чём вы», слишком легко исчезает из судебной стенограммы. Я выбрала другую формулировку.

— Прошу внести в протокол фактическое количество кресел перед регистрационным столом.

Секретарь у дальней стены подняла голову. Её маленький серебряный прибор на горле мигнул, хотя она молчала.

— Два, — сказал распорядитель.

— Пересчитайте.

— Госпожа Вирс, я не позволю превращать процесс в демонстрацию вашего профессионального остроумия.

— Тогда прошу пригласить специалиста по материальному учёту. Любого, кто умеет считать до трёх.

Дайн коротко, почти незаметно выдохнул. Я не была уверена, что это был смех.

Секретарь подошла к третьему креслу. Взгляд её скользнул по спинке, опустился ниже и задержался на полу. Она не пыталась прикоснуться к обивке. Вместо этого прошла вдоль разметки, осторожно огибая предмет, которого, по словам распорядителя, не существовало.

— Отметка ответчика о расстановке мебели принята, — произнесла она.

— Такую отметку в апелляции не примут. Мне нужен зафиксированный факт, а не формальная запись.

В регистрационном стекле дрогнула прозрачная полоса, которую распорядитель безуспешно пытался стереть. На секунду она наклонилась в сторону кресла истца, затем вернулась в промежуток между двумя обычными линиями.

— Система сообщает о помехе, — сказал распорядитель слишком быстро.

— Система сообщает о третьем показании. Помехи не выбирают сторону.

Мне было легче спорить с живым человеком, чем смотреть на третье кресло. Слова закона были моей привычной защитой. Пока я могла возражать, я оставалась экспертом. И, возможно, собой.

— Суд объявляет технический перерыв, — сказал распорядитель.

Он коснулся края пластины.

Где-то под полом ударил короткий сигнал. Серебряная линия, означавшая мою душу, погасла. Тёмная, моя собственная, замерла на месте. А третья стала отчётливее.

На обивке пустого кресла истца шевельнулась тень, хотя свет верхнего окна не менялся. Я почувствовала под рёбрами напряжение — то самое, что появилось утром рядом с серебряным конвертом. Оно было похоже на сдерживаемый протест.

— Вы не имеете права сбрасывать запись до консервации, — сказала я. — Статья сорок восемь, пункт шестой. При появлении неустановленного источника регистрационный массив подлежит немедленному сохранению.

— Неустановленный источник не подтверждён.

— Вы только что признали помеху. Значит, не можете доказать её происхождение.

Распорядитель посмотрел на секретаря. Та стояла неподвижно. Затем осторожно коснулась серебряного прибора у горла, будто ожидала разрешения, которого никто не произнёс.

Наконец она сказала:

— Господин распорядитель, сторона вправе получить уведомление о техническом изъятии записи.

Я успела заметить, как изменилось его лицо. Не удивление. Досада: кто-то в его присутствии напомнил о существовании закона.

— Удовлетворить, — произнёс он. — Слушание приостановлено до заключения независимой акустической комиссии. Документы выдадут на выходе. Всем покинуть зал.

— Я требую указать причину приостановления.

— Неисправность прибора.

— А если он исправен?

— Тогда тем более есть смысл дождаться комиссии.

Секретарь на этот раз посмотрела прямо на меня. Почти незаметно она покачала головой.

Я поняла её предупреждение раньше, чем подумала о причинах. Здесь нельзя было выигрывать спор. Нужно было вынести из зала хотя бы одно доказательство того, что спор вообще состоялся.

Я сняла с лацкана экспертный знак — тот самый, который утром забыла снять дома после приказа об отстранении, — и положила его на свободную подушку третьего кресла.

Металл лёг с негромким стуком.

— Прошу отметить, что я оставила здесь принадлежащий мне предмет, — сказала я. — Если кресла не существует, объясните, на чём он лежит.

Распорядитель отвернулся.

Секретарь, не глядя на мой знак, ответила:

— При выходе проверьте пол у регистрационного стола.

Я моргнула.

Третьего кресла больше не было.

На каменном полу, между двумя тонкими полосами разметки, лежал мой знак. Сухой и холодный, он оставил под собой маленький след серой пыли. Четыре борозды от ножек тоже остались. Но только две из них вели к тому месту, где кресло стояло мгновение назад. Остальные исчезали под основанием пустого кресла истца.

Я нагнулась за знаком.

Вместе с ним к пальцам пристала крупинка матового порошка. От неё пахло не пылью и не сыростью, а нагретым после перегрузки металлом — как от старых регистраторов, на которых меня учили работать в первый год практики.

Ни один из приборов в зале не должен был пахнуть так.

⁂

За дверью зала распорядитель сразу перестал меня замечать. Его провели к лифту, охраняемому двумя сотрудниками, и дверь закрылась, не дожидаясь секретаря. Дайн остался у окна с матовым стеклом. Он не двигался с тех пор, как мы вышли.

— Вы знали, что это произойдёт, — сказала я.

— Я знал, что может произойти.

— И привели меня сюда?

— Вы пришли по повестке, госпожа Вирс. Я никого не приводил.

Его спокойствие раздражало. За девять лет после разделения он научился пользоваться словами аккуратнее многих адвокатов. Я подумала о том, сколько раз ему приходилось доказывать, что его слова вообще принадлежат человеку.

— Что вы видели там, в зале? — спросила я.

Дайн посмотрел в длинный коридор.

— Место.

— Кресло?

— Пустое место, куда никто не хотел смотреть. Вы называли его креслом. Секретарь обходила его. Я видел, как ваш знак остался лежать там, где исчезло кресло. Этого достаточно?

Не было. Но впервые за сегодняшний день мне ответили так, что ответ не укладывался в судебные клетки.

— Вы слышали голос?

— Последнее слово.

— «Поздно»?

Он коротко кивнул.

— Вы предупреждали меня не отвечать. Кому?

— Не знаю.

— Дайн.

— Я не знаю, что это было. Если бы знал, не прожил бы девять лет, пытаясь заставить суд проверить одну минуту из моей жизни.

Он отступил от окна. На лице у него появилось выражение, которого я не ожидала, — усталость человека, которому не дали закончить фразу девять лет назад и который с тех пор вынужден постоянно начинать её заново.

— Я пришёл не ради вашей карьеры, Нелла. И не ради того, чтобы заставить вас страдать. Мне нужно, чтобы хоть кто-нибудь официально признал: я просил спасти меня, а не отдать кому-то моё имя.

Я почувствовала, как сжались пальцы вокруг экспертного знака.

— Вы умирали. Дыхание останавливалось. Показатели распадались. Меня оставили с решением, на которое не было времени.

— Это я знаю. Вы подробно описали это в отчёте.

— Вы читали мой отчёт?

— Я девять лет читал всё, что государство готово было оставить человеку без статуса. Не так уж много, как вам кажется.

Он достал серую пластину с трещиной и положил её на ладонь.

— Вот моё имя теперь. Его нет. Моё имущество существует. Моя прежняя душа получила право распоряжаться им. Я даже не считаю это несправедливостью само по себе. Она тоже хотела жить. Но где во всём этом я?

Я хотела возразить, что правосубъектность нельзя раздать всем без пересмотра основ государства. Этот аргумент не раз помогал мне выигрывать споры. Сейчас он показался отвратительно удобным.

— Вы вправе требовать признания, — сказала я.

— Вы говорили это каждому, кто проходил через ваши руки?

— Нет.

Дайн посмотрел на меня почти с уважением.

— Тогда начнём с этого.

Я могла бы попросить прощения. И, возможно, когда-нибудь должна была. Но слова, произнесённые сейчас, избавили бы меня от необходимости что-либо делать. Он тоже это понимал.

— На записи того дня есть что-то, чего я не слышала? — спросила я.

Он долго смотрел мне в лицо.

— Перед разделением я услышал два звука, которых не смог забыть. Первый — собственный голос: «Спаси меня». Второй шёл от регистратора. Едва слышный.

— Что это был за звук?

— Не знаю. Он оборвался прежде, чем я успел разобрать.

— Его кто-то отключил?

— Включили подавление. А позже, стоило мне заговорить об этом звуке на контрольных обследованиях, прибор включали снова.

Он не сказал, кто его включал. Я не стала выдумывать ответ вместо него.

По коридору прошла секретарь с серебряным прибором у горла. При виде нас она замедлила шаг, но не остановилась.

— Госпожа Вирс, вам выдан документ о техническом изъятии. Получите его в бюро регистрации и покиньте здание. Свидетель Кервер, ваше разрешение на присутствие истекает через десять минут.

— Вы слышали, что произошло в зале? — спросила я.

Женщина посмотрела не на меня, а на Дайна.

— Все показания, зарегистрированные надлежащим образом, будут сохранены.

— А зарегистрированные ненадлежащим?

Её рука дёрнулась к прибору.

— Таких показаний суд не получал.

Она ушла. Дайн проводил её взглядом.

— Если вам предложат признать, что у прибора был сбой, — сказал он, — попросите показать первичную бумагу. Не копию.

— Почему?

— Потому что копию можно сделать тише оригинала.

— Откуда вы это знаете?

Впервые его спокойствие исчезло.

— Потому что со мной это уже сделали.

Он отвернулся. Я не стала удерживать его за рукав. Девять лет назад я уже слишком легко решила, что имею право держать человека, когда он хочет уйти.

⁂

Уведомление о техническом изъятии напечатали на тонком, почти прозрачном листе. На нём указали номер моего дела, время начала заседания, перечень приборов и сухую фразу: «Отдельные акустические значения признаны непригодными к рассмотрению».

Ни слова о третьем кресле.

Ни слова о голосе.

Ни одной строки о том, что в регистрационном стекле горели три полосы.

Я потребовала показать журнал первичного ввода. Сотрудник бюро уставился на свой экран и сказал, что такого журнала не существует. Я попросила оформить отказ письменно. Он нервно посмотрел на дверь в служебный коридор и через пять минут вернул мне дополнительную квитанцию.

На её нижнем поле темнела узкая насечка, словно бумагу невольно придавили ногтем.

— Печать повреждена? — спросила я.

— Квитанция действительна.

— Я не спрашивала, действительна ли она.

— Другой я вам не дам.

Он говорил с такой убеждённостью, будто возможность выдать повторную квитанцию исключили заранее.

Уже на улице я достала коммуникатор. Илва ответила после второго сигнала.

— Ты где? — спросила она.

— Жива. В юридическом смысле пока ещё спорно.

— Я хотела прийти к суду, но сотрудников лаборатории не пустили к залу, где проходило твоё слушание.

— Они называют происходящее неисправностью регистратора. Мне нужен перечень старых приборов, которыми пользовались в операционном отделении девять лет назад.

— Ты серьёзно хочешь вернуться к тому делу?

— Я, кажется, из него так и не вышла.

Илва помолчала. Потом послышался скрип стула и дробный стук клавиш.

— В обычном каталоге операционные приборы за тот год не числятся. Архив передали на уничтожение при переходе к новому протоколу.

— «Не числятся» и «уничтожены» — разные вещи.

— Ты сейчас говоришь как моя начальница.

— Это плохо?

— Это означает, что ты ещё способна раздражать окружающих. Уже хороший знак.

Я остановилась у трамвайной остановки. Дождь, который пассажиры обсуждали по дороге в Палату, наконец начался. Капли собирались на стеклянной крыше и неравномерно стекали по металлическому краю.

— Уцелел перечень закупок, — сказала Илва. — Финансовые документы обязаны хранить двадцать лет. А к нему приложен старый акт выдачи оборудования: в день разделения

Кервера в операционную отправили опытный регистратор серии Т-4. Изготовитель — исследовательская мастерская при Палате.

— Имя разработчика?

— Мартен Сольв.

Имя было знакомо. На старых научных статьях его печатали в начале списка авторов. На новых проектах — в разделе «предшествующие технические решения», мелко, без пояснений.

— Тот самый Сольв? — спросила я.

— Если существует другой Мартен Сольв, который придумал подавление конфликтного шума и после этого лишился собственной души, мне о нём неизвестно.

— Ты нашла только фамилию? — спросила я Илву. — Или акт приёмки тоже?

Она зашуршала страницами.

— Подпись разработчика стоит напротив слова «испытано». А рядом другой почерк: «Работа при отсутствии полного ответа допускается». Подписанта на копии закрыли чёрной полосой.

— Сделай мне снимок полосы вместе с полями. Не очищай документ и ничего не восстанавливай. Я не хочу ещё одной версии, в которой мы сами дописали недостающее.

— Ты учишься поздно, Нелла, — тихо сказала Илва.

Я не стала спорить. Мне впервые понадобился не виновный, а доказательство, которое выдержало бы и моё желание обвинить его.

— С ним можно связаться?

Илва хмыкнула.

— По закону? Нет. У него нет гражданской регистрации. По реальности? В мастерской старых сигналов, на нижней линии, возле депо. Он чинит оборудование, которым больше никто не хочет заниматься. Я отправлю адрес, но сообщение удалю сразу после доставки.

— Не рискуй из-за меня.

— А ты не решай, что мне делать. У тебя сейчас особенно неудачная биография для таких советов.

Я засмеялась впервые за весь день. Смех вышел негромкий и закончился слишком быстро.

— Илва, — сказала я. — Ты сегодня слышала что-нибудь странное в лаборатории? Не шум. Обычный звук.

— Какой?

Я вспомнила кресло, которое суд отказывался признавать, даже когда оно стояло посреди зала.

— Звук того, чего ещё не произошло.

— Нет. — Она помедлила. — Но утром пришла инструкция не записывать служебные паузы. В новых рекомендациях они называются «неинформативным интервалом». До сегодняшнего дня мы обязаны были хранить их наравне с остальными измерениями.

— Кто подписал?

— Коллегия Рейна.

Я сжала лист так сильно, что на нём проявилась складка.

— Сохрани старую редакцию инструкции. Только не в рабочем хранилище.

— Поняла.

Когда связь прервалась, я вспомнила собственное заключение, лежавшее дома на столе. Семьдесят шесть страниц об устранении помех. В одном из разделов я писала: «Промежутки между зарегистрированными волеизъявлениями значения для диагностики не имеют».

Эта фраза казалась мне безупречной.

Я написала её три месяца назад.

Тогда я ещё верила, что человек молчит, потому что ему нечего сказать.

⁂

Мастерская старых сигналов пряталась за воротами бывшего депо. Над дверью висела табличка без фамилии владельца: «Возвращаем вещам способность отвечать». Под ней кто-то дописал от руки: «Кроме людей».

Я остановилась перед дверью чуть дольше, чем собиралась. Мне не хотелось вновь оказаться специалистом, который приходит к человеку без имени и просит его спасти систему, лишившую его имени.

Внутри пахло горячей пылью, остывшим чаем и медной проволокой. Вдоль стен стояли аппараты, которые я знала только по учебным иллюстрациям: механические звукографы, приёмники старого образца, коробки с пружинными звонками. На длинном столе лежал раскрытый дорожный сигнализатор. Его корпус был покрыт глубокими царапинами; на крышке была вырезана дата, цифры которой почти сгладились от постоянных прикосновений.

Мужчина за столом не поднял головы, когда я вошла.

— Если нужна новая плата, её нет, — сказал он. — Если нужна старая, её тоже нет. Если нужен ремонт за обещание заплатить, выход за вами.

— А если мне нужен Мартен Сольв?

Он отложил инструмент. Высокий, с тёмными волосами, подстриженными явно не ради впечатления, и усталым внимательным лицом. На вид ему было около тридцати пяти. На запястье виднелся тонкий белёсый рубец — память о регистрационном браслете, снятом после разделения. Ни знака личности, ни серой пластины на нём не было.

— Это зависит от того, кому он нужен.

— Нелла Вирс.

Мартен посмотрел на мой экспертный знак, который я по привычке держала в кулаке, и улыбнулся одним уголком рта.

— Эксперт Вирс. Помню ваш отчёт о допустимом риске. На семнадцатой странице вы назвали последствия моей технологии статистически несущественными.

Я почувствовала, как у меня покраснели уши.

— В том отчёте были ограничения применения.

— А в отчёте, который читали судьи, осталось только слово «допустимо». У меня был опыт с тем, что можно сделать с записью, если убрать её неудобную половину.

Он не повысил голос. От этого мне стало сложнее защититься.

— Я пришла не оправдываться, — сказала я.

— Обычно это говорят перед длинным оправданием.

— Тогда начнём с другого. Мне нужен человек, который умеет читать старые паузы.

Мартен перестал улыбаться.

— Откуда у вас это выражение?

Я положила на стол уведомление об изъятии и дополнительную квитанцию. Тонкая бумага слегка свернулась по краям.

— Сегодня в суде официально не существовал третий источник показаний. Но я его видела. И слышала. После этого работу регистратора прервали, а часть показаний исключили из протокола. Мне выдали вот это.

Мартен не торопился брать документы. Посмотрел сначала на один лист, потом на другой.

— Вы пришли ко мне, потому что не можете предъявить суду то, что суд не захотел записать.

— Я пришла, потому что на квитанции есть вдавленная отметка, которой не должно быть. Принтеры Палаты уже пять лет не оставляют рельефных следов при печати.

— Кроме одного случая.

Я ждала.

— Когда цифровой блок не может уничтожить след без подтверждения физического носителя. Старое требование к технической безопасности. Защитную процедуру пытались отменить, но инженеры отказались подписывать обновлённый стандарт.

— Вы были среди этих инженеров?

— Я был самым неприятным из них.

Он взял лист двумя пальцами и поднёс к боковой лампе. При обычном свете нижний край казался пустым. Под косым появились короткие вдавленные полосы, разной глубины и длины.

— Это не текст, — сказал Мартен. — Счётчик утраченных фрагментов. У вашего заседания было три выхода данных. Два записали. Один отключили от стенограммы, но прибор сообщил на бумагу, сколько материала оказалось исключено.

— Сколько?

— По всей видимости, сорок одна секунда. Времени достаточно, чтобы принять решение, от которого потом откажутся все присутствующие.

Я вспомнила, как третья полоса наклонилась к креслу истца.

— Это всё можно восстановить?

— Не по листу. Можно лишь установить, что часть данных исключена из стенограммы. Для самих показаний нужен исходный носитель.

— Его должны были опечатать в суде.

— Я бы удивился, если бы его оставили на полке с надписью «Возьмите, пожалуйста».

Я невольно улыбнулась. Мартен отвернулся и открыл железный ящик под столом. Из него он достал небольшой прибор, напоминавший старые кухонные весы, но вместо чаш у него были два зажима и узкая полоска прозрачного материала.

— Прежде чем мы продолжим, — сказал он, — я должен понять, зачем вам запись. Для защиты вашего статуса? Для опровержения слов Кервера? Или чтобы снова объявить чужое несогласие болезнью?

Мне не понравился вопрос. Ещё меньше мне понравилось, что ответ действительно имел значение.

— Я хочу узнать, что произошло, — сказала я.

— Это не цель. Цель начинается там, где правда становится неудобной лично вам.

Я посмотрела на свой знак. Девять лет я носила его как подтверждение того, что мои решения имеют вес. Сегодня он впервые напоминал мне крошечную заслонку: её можно приподнять, чтобы увидеть свет, а можно закрыть, когда увиденное не понравится.

— Я подписала разрешение на разделение Дайна без полноценного подтверждения его согласия, — произнесла я. — Я считала, что он умрёт, если буду ждать. Это было моё решение. Не его. Если запись докажет, что он отказывался, я не стану скрывать её ради своей защиты.

Мартен долго молчал.

— Запишите это, — сказал он.

— Сейчас?

— Да. На обычную бумагу. Без свидетелей и регистратора. Подпишите своим именем — тем, которое у вас ещё есть.

— Такая записка не имеет юридической силы.

— Я знаю. Но иногда человек должен сначала суметь произнести правду без помощи закона.

Я взяла лежавшую на столе ручку. Написала три короткие строки. В последний момент добавила дату и поставила подпись.

Мартен не прочёл записку. Отодвинул её к краю стола.

— Оставьте себе. Мне она не нужна.

— Тогда зачем?

— Хотел убедиться, что вы способны написать слово «я», не уточняя, кому оно принадлежит.

Мне хотелось возненавидеть его за эту фразу. Вместо этого я ощутила неприятное облегчение.

Я посмотрела на бумагу. Там было написано: «Я хочу узнать правду». Собственная рука поставила подпись неуверенно — последняя буква сбилась, будто кто-то остановил меня за запястье. Поразительно, что три простых слова требовали большей решимости, чем десятки заключений, которые я подписывала на работе.

— Вы слишком легко разговариваете со мной так, словно уже вынесли приговор, — сказала я.

Мартен не отвернулся. — Я вижу человека, который привык говорить «это было необходимо». Я тоже когда-то говорил так. Если вам нужен судья, его здесь нет. Если нужен свидетель того, во что превращается такое оправдание, — я перед вами.

Злость не исчезла. Только смешалась с неприятным желанием остаться и задать ему ещё один вопрос. Я не любила людей, которые видели меня без экспертного знака. И ещё меньше любила то, что впервые за день мне не хотелось от них прятаться.

Мартен включил прибор. Он работал без обычного регистрационного звука. Только маленькая игла медленно прошла над полоской материала.

— Вашу квитанцию можно сравнить с образцами старой регистрации, — объяснил он. — Не чтобы узнать, что сказали в зале. Чтобы понять, в каком режиме суд удалил сорок одну секунду. Есть обычная очистка помех. Есть защита личных сведений. И есть исключение того, что невозможно признать показанием.

— Третье?

— Посмотрим.

Из прибора вышел узкий бумажный язычок. Мартен провёл по нему ногтем, проверяя рельеф, и выругался — коротко, без злости.

— Что?

— Режим отсутствия участника. Очень старый. Я думал, его перестали использовать вместе с моими первыми моделями.

— Что это означает?

— Что прибор не объявлял голос помехой. Он зарегистрировал голос как присутствующий, а затем получил команду считать его отсутствующим.

Он повернул ко мне полоску. На ней были три последовательные выемки. Третья была прорезана насквозь.

— Смотрите. Не ошибка. Команда.

Слова оказались тяжелее, чем я ожидала. Если суд приказал считать существующее несуществующим, то я всю карьеру помогала ему делать это на других заседаниях — просто под другим названием.

— Мне нужна запись девятилетней давности, — сказала я. — Дело девять — ноль — семнадцать. Экстренное разделение Дайна Кервера. Тогда использовали вашу Т-4.

Мартен выпрямился.

— Вы уверены в номере?

Я повторила.

Он направился к высокому шкафу в углу и открыл нижний ящик. Внутри лежали узкие рулоны серой бумаги, надписанные вручную. Он перебрал несколько, один за другим, затем достал небольшую коробку, на крышке которой было выведено: «Т-4. Калибровочные отклонения. Не передавать в обработку».

— Вам разрешили сохранить государственный архив? — спросила я.

— Это не архив пациентов. Это журнал ошибок моего прибора. Когда оборудование списали, его разрешили забрать как технический лом. Люди любят слово «лом»: оно помогает не думать, сколько памяти они выбрасывают.

Он размотал часть ленты. На ней теснились незнакомые мне знаки. Я могла различить только временные деления и три тонкие линии, похожие на следы от иглы.

— Здесь нет имён, — сказал Мартен. — Только серия прибора, дата, режим работы и случаи, в которых он измерял больше, чем ему позволялось. Номера дела здесь быть не должно. И всё же я помню тот сигнал…

Он остановился.

— И всё же что?

— Я помню эту операцию. Не человека. Сигнал. На приборе внезапно появилась дополнительная полоса. Я решил, что оператор держал пациента за руку во время считывания.

У меня стало холодно в пальцах.

— Я держала его за руку.

Мартен посмотрел на меня.

— Вам объясняли, что во время считывания нельзя касаться руки пациента, на которой закреплён электрод?

— Объясняли. Он задыхался. Я не думала об электродах.

— Из-за этого прибор мог уловить сигнал другого человека. Не всё его состояние, а лишь сильное волеизъявление, совпавшее с критическим моментом.

Он положил на стол две полосы: новую, полученную из судебной квитанции, и старую, вырезанную из калибровочного журнала. У обеих третий след уходил в сторону перед тем, как исчезнуть.

Я смотрела и ничего не понимала. Мартен переместил лампу, выровнял полоски по началу записи и показал маленькую неровность на каждой. На новой она была почти незаметной. На старой — глубокой, словно игла остановилась и передумала продолжать путь.

— Видите этот излом? — спросил он.

— Да.

— Я назвал его паразитным откликом. Долго пытался устранить. В отчётах он стал «неинформативным интервалом». Все пользовались этим термином, даже когда уже не помнили, кто его придумал.

— И вы теперь говорите, что это не помеха?

— Я говорю, что сегодня суд удалил тот же тип сигнала, который мой прибор обнаружил девять лет назад. А ещё — что тогда этот сигнал не относился к Дайну.

В мастерской тихо щёлкнул остывающий металл. Я вдруг заметила, как сильно устала: хотела сесть, но стул позади меня показался чем-то опасным. Я осталась стоять.

— Кому он принадлежал? — спросила я.

Мартен не ответил сразу. Он достал увеличительное стекло и ещё раз проверил шкалу старой ленты. Затем повернул ко мне бумагу. Рядом с третьим следом была очень мелкая отметка: две короткие вертикальные линии и одна поперечная.

— Это не имя, — сказал он. — Так Т-4 обозначал несовпадение показаний пациента и постороннего прикосновения. К отметке привязан код намерения: он показывает, чего хотел источник сигнала, но не называет его. Я помню этот код. Даже тогда он показался мне странным.

— Какой код?

— Не согласие на разделение. Запрос на собственное отделение.

Я попыталась возразить, но он поднял руку.

— Нелла, послушайте. Девять лет назад, пока вы держали Дайна Кервера за руку и подписывали решение о его разделении, прибор зарегистрировал ещё одного просителя. Он не был пациентом. Он не требовал разделить Дайна.

Мой взгляд упал на лежавшую у края стола записку. Собственная подпись казалась вдруг чужой не потому, что изменилась, а потому, что я впервые подумала, кто ещё мог бы претендовать на неё.

— Что же он требовал? — тихо спросила я.

Мартен положил ладонь поверх старой ленты, словно пытался не дать ей шевельнуться.

— Того же, чего ваша душа потребовала сегодня утром.

Я не почувствовала страха. Не сразу.

Сначала внутри меня что-то замерло, как человек, который давно стоит у двери и наконец услышал своё имя.

— Нет, — сказала я.

Он не стал спорить.

— Значит, мне придётся выяснить, почему девять лет назад прибор счёл неисправностью требование, похожее на сегодняшний иск вашей души. И кто именно тогда его предъявил.

За моей спиной очень тихо скрипнула дверь мастерской.

Мартен посмотрел на неё.

— Вы пришли одна? — спросил он.

— Да.

Он выключил прибор и впервые за всё время разговора побледнел.

— Тогда объясните, — сказал он, — почему на моей старой ленте только что появилась четвёртая линия.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.